

# ЗГНИЛЕ-БЛОТА

Александр Трофимов



18+

Александр Трофимов

**ЗГНИЛЕ - БЛОТА**

«Автор»

2026

**Трофимов А.**

ЗГНИЛЕ - БЛОТА / А. Трофимов — «Автор», 2026

1748 год. Забытая Богом деревня Згниле-Блота, со всех сторон зажатая мертвыми Топельскими болотами. Когда местный кузнец привозит из Кракова жену неземной красоты, тихая жизнь поселка рушится. Мужчины сходят с ума от слепой страсти, а женщины от черной, разъедающей душу зависти. Семеро почтенных жителей решают, что Агнешка должна принадлежать им, и совершают тяжкое преступление, в желании обладать ее. Теперь по ночам над деревней стоит приторный, тошнотворный запах меда, а каждого, кто причастен к этому преступлению, ждет изощренная, персональная кара, от которой смерть покажется милостью. Перед вами тайная исповедь сельского ксендза, день за днем фиксировавшего, как его паства сходит с ума от неизбежного ужаса. Но читая эту леденящую душу хронику, помните, что иногда трусливое молчание кричит громче убийства.

© Трофимов А., 2026

© Автор, 2026

# Александр Трофимов

## ЗГНИЛЕ - БЛОТА

### ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Хроника прихода Святого Креста деревни Згниле-Блота,  
написанная рукою ксёндза Бенедикта Вронецкого  
в лето Господне тысяча семьсот сорок восьмое

*Пишу это не для людских глаз, ибо нет среди живых никого, кто пожелал бы вспомнить тот год, а кто пожелал бы - тому я не доверю бумаге. Пишу для Господа моего, перед которым вскоре предстану, и пишу, чтобы правда не ушла в болото вместе с теми, кто её создал. Пусть чернила эти станут моей последней исповедью, а перо - свидетелем, коего у меня при жизни не хватило духу позвать.*

*Господи, прости меня.*

*Всё началось в конце сентября, когда кузнец Марек вернулся из Кракова с молодой женой. Как её звали - знают даже те, кто никогда не бывал в наших краях: слухи об Агнешке из Згниле-Блота разошлись по всей округе ещё до того, как её погребли, - а погребли ли, этого я и по сей день не знаю.*

*Но начну с самого начала. С места, которое само по себе уже было предзнаменованием...*

### ПРОЛОГ

Не для того даны человеку очи, чтобы заглядывать в щели чужих судеб. Но кто ж из нас, признаемся честно, хоть раз не поддавался тому стыдному, жгучему любопытству, какое охватывает всякого при виде плотно притворённой двери? Запертая дверь - она как чужая душа: и страшит, и манит. А уж если за тою дверью творится нечто эдакое, чего не покажут при свете дня, - тут никакие заповеди не удержат. Вот и мальчишка, о коем пойдёт речь в прологе, не удержался. И поплатился так, что лучше бы ему вовсе на свет не родиться.

Дело было в ту пору, когда осень перевалила зенит, а зима ещё не набрала силу. Туман, поднимавшийся с Топельских болот, был в тот вечер особенно густ и липок. Он забирался под одежду, холодил кости и заставлял даже самых крепких мужиков зябко передёргивать плечами. В такую погоду добрый хозяин собаку на двор не выгонит, а этот, прости Господи, сам полез в кусты, аки ёж какой или иная тварь, не ведающая ни стыда, ни страха.

У старой лазни, что стояла на берегу реки, у самой кромки ольшаника, собрались в тот вечер, по обыкновению, деревенские бабы. Они уже отмылись, отпарились, отскребли с себя недельную грязь и теперь, красные, распаренные, как варёные раки, сидели в предбаннике, кутаясь в грубые рушники, и вели свои бесконечные разговоры - о мужьях, о соседях, о видах на урожай и о том, кто с кем живёт, а кто от кого гуляет. Я часто слышал отголоски этих бесед позже, на исповедях, когда каждая вторая женщина каялась в злословии, но делала это с таким вкусом, что становилось ясно: грех этот был им люб, как бальзам на душу.

Но один человек, не принадлежавший к бабьему сословию, в этот вечер тоже оказался возле лазни. Был это хлопец лет девятнадцати, по имени Сташек, сын пастуха. Знал я его с младенчества: крестил, причащал, учил катехизису. Парень он был тихий и мечтательный, с лицом, ещё не тронутым бритвой, и глазами той особенной, влажной голубизны, какая бывает у апрельского неба после дождя. В деревне его считали немного блаженным: он мог часами сидеть на берегу и смотреть на воду, или разглядывать облака, или слушать, как ветер шумит

в вербах. К женскому полу он питал интерес самый что ни на есть живой, но исключительно созерцательного свойства - однако подойти, заговорить, а тем более чего-то добиться ему не хватало ни смелости, ни умения. Я пытался наставлять его, говорил о грехе праздного любопытства, но он слушал, опустив голову, соглашался, а на следующий вечер снова пропадал где-то у реки.

В тот вечер его привело к лазне не праздное любопытство. Он знал, кто остался там, внутри. Знал и ждал этого часа давно, с самого того дня, как кузнец Марек привёз её в деревню. Мысль о ней не оставляла его ни на минуту. Я догадывался об этом по тому, как он вздрагивал, когда её имя упоминалось в разговоре, как краснел, когда она проходила мимо костёла. Он следил за нею издали, запоминал каждую складку её платья, каждый жест, каждый поворот головы. Он знал, когда она ходит за водой, когда - в костёл, когда - на поле. Знал, но никогда не решался приблизиться. Она была для него существом иного порядка, божеством, сошедшим на землю по нелепой, немислимой случайности. И он, робкий, нескладный, нищий пастуший сын, мог лишь смотреть. Смотреть и молчать.

А знал он больше, чем следовало. Я выяснил это много позже. Он слышал разговоры в корчме - те, что велись шёпотом, после третьей кружки, когда языки развязываются, а совесть, напротив, засыпает. Он слышал обрывки фраз, намёки, полуслова, из которых, как из осколков разбитого горшка, складывалась страшная картина. Он знал о заговоре. Знал - и молчал. И теперь, лёжа в мокрых кустах бузины у стены лазни, он не мог бы ответить на вопрос, почему он молчал. Не потому, что боялся, - хотя боялся тоже. Не потому, что некому было рассказать, - хотя и это правда: кузнец не поверил бы, войт сам был в числе заговорщиков, а я, старый и немощный, что мог бы сделать? Но главная причина лежала глубже, в том тёмном и постыдном уголке души, о котором человек не говорит даже себе самому. Где-то там, на самом дне, шевелился зародыш чувства - что-то похожее на тайное, извращённое облегчение. Если Марека не станет - она будет одна. Одна, без защиты, без опоры. И тогда...

Он гнал эти мысли. Ужасался им. Но они возвращались, как возвращается тошнота после дурной пищи. Эти мысли привели его в тот вечер к лазне. Он хотел увидеть её. Хотя бы раз. Хотя бы в щель. Хотя бы украденным, ворованным взглядом.

Бабы разошлись. В лазне оставалась только одна женщина. Сташек пробрался задами, через ольшаник, и залёг в густых кустах бузины, что росли у самой стены. Здесь у него было облюбованное место - щель в два пальца шириной между двумя почерневшими от времени брёвнами, через которую открывался вид внутрь. Он не раз пользовался этим наблюдательным пунктом и всякий раз уходил, переполненный впечатлениями, которые потом долго перебирал в памяти, лёжа ночью без сна. Но то, что ему довелось увидеть в этот раз, превзошло всё. И, более того, навсегда лишило его способности наблюдать что-либо вообще.

Агнешка была одна. В предбаннике царил полумрак, освещённый лишь красноватыми отблесками догорающей печи. Она скинула свитку и юбку и теперь стояла посреди комнаты в одной тонкой сорочке, которая в этом свете казалась почти прозрачной.

Сташек, прижавшись к холодным брёвнам, чувствовал, как колотится его сердце. Ладони его стали влажными. Он видел, как она подняла руки, чтобы поправить волосы, - и сорочка натянулась, обрисовав её стан. И было в нём такое совершенство пропорций, такая гармония линий, что даже неискушённый Сташек понял: это ошибка природы, нечто, чего не должно быть в обычной, прокопчённой деревенской лазне.

Она взяла с лавки пучок трав, терпко и сладко пахнувших, и скрылась за дверью парной. Сташек перевёл дух и переместился левее, почти уткнувшись лицом в мокрую крапиву, чтобы видеть угол каменки и часть полока.

В парной было темно. Но тьма эта была недолгой. Агнешка зажгла тонкую восковую свечу, из тех, что ставят в костёле перед образами, и поставила её на край каменки. Пламя осветило парную.

Она разделась.

Сорочка соскользнула с плеч и упала к ногам. Сташек судорожно втянул воздух и замер. Он увидел её всю в дрожащем свете свечи, в клубах пара. Никогда в жизни он не видел такой красоты и был уверен, что никогда больше не увидит. Он смотрел и не мог насмотреться. Он забыл, кто он и где он. Осталась только она, обнажённая, прекрасная и недоступная.

Но то, что произошло дальше, заставило его пожалеть о том, что он вообще родился на свет.

Агнешка не стала мыться. Она не взяла ни шайки, ни мочала. Вместо этого она выпрямилась во весь рост, подняла руки над головой и замерла, вслушиваясь во что-то, слышное только ей одной.

Она зашептала.

Губы её задвигались быстро-быстро, и звуки, срывавшиеся с них, были не похожи ни на молитву, ни на песню. То было странное, гортанное, ритмичное бормотание, в котором проскальзывали слова незнакомого языка - древнего, забытого, того, на котором, быть может, говорили ещё до Адама. Сташек не понимал ни слова, но от этого шёпота по спине его пополз холодок. Свеча, только что горевшая ровно, замигала, хотя сквозняка не было.

Начало появляться оно.

Сначала это было сгущение, чуть более плотное, чем окружающий пар, - колеблющееся облачко, похожее на чернильную каплю в воде. Оно пульсировало - ритмично, мерно, в такт шёпоту Агнешки. Оно росло, набухало, впитывало в себя темноту, и оттого в парной становилось всё темнее, хотя свеча продолжала гореть.

Потом облачко начало обретать форму.

Сперва проступили контуры, неестественно высокие - голова почти касалась потолка. Потом проступили руки, длинные, тонкие, сгибающиеся под неправильными углами, как ветки мёртвого дерева. Пальцев на этих руках было больше, чем нужно, и они всё время шевелились, переплетались, оканчиваясь не ногтями, а чем-то острым, похожим на обломки льда. Потом проступили волосы, струящиеся не вниз, а вверх и в стороны.

Потом проступило лицо.

Оно всё время менялось. То становилось лицом юной девы, то дряхлой старухи, то мордой зверя с вытянутыми челюстями и безгубым ртом. А иногда лицо пропадало вовсе, и на его месте оставалась только гладкая, блестящая поверхность, как у зеркала, в которое если бы Сташек посмотрел, то увидел бы собственное отражение, перекошенное от ужаса.

Глазницы сущности светились зелёным, болотным пламенем. Зрачков в них не было - вместо зрачков в глубине что-то шевелилось, что-то древнее и отвратительное, чему нет названия. Рта не было. Вместо рта была щель, пересекавшая нижнюю часть лица от уха до уха. Когда она открывалась, за нею виднелась только чёрная, бездонная пустота, из которой тянуло холодом и тленом.

И от всего этого существа исходил запах гнили, смешанный с ладаном, и ещё что-то сладковатое, похожее разлагающаяся плоть.

Сущность заговорила. Голос её звучал отовсюду сразу - из стен, из пола, из воздуха. Он был тих и вкрадчив, как шёпот, но в то же время оглушительен.

- Ты звала меня, - произнесла она. - Говори.

Агнешка не испугалась. Она опустила руки и повернулась к сущности всем телом.

- Я знала, что ты придёшь, - сказала она. Голос её звучал ровно. - Ты приходишь к тем, кто на краю. К тем, у кого больше ничего не осталось. Ты приходишь и предлагаешь. Я это знаю.

Сущность склонила голову. Её горящие глазницы вонзились в лицо Агнешки, и в глубине их что-то шевельнулось, похожее на усмешку.

- Я знаю не только это, - прошелестела она. - Я знаю, кто ты. И я знала тех, кто был до тебя. Твою мать, Хелену из-под Кракова. Она умела заговорить кровь и отвадить лихоманку,

но боялась даже произнести моё имя. Твою бабу, Катаржину, которую жгли за колдовство. Она была сильнее матери, но тоже не более чем знахарка. А вот прабабка твоя, Марианна... - сущность сделала паузу, и голос её стал ниже, почти ласковым, - та умела входить в сны. Она была опасна. Её боялись даже те, кто носит крест.

Агнешка выпрямилась. Плечи её расправились, и в глазах загорелся тот самый медовый огонь, что сводил с ума всю деревню. Но теперь в нём появилась холодная, всепоглощающая решимость.

- Могущество, - сказала она. - Я прошу силу, перед которой никто не устоит. Власть над душами, такую, чтобы я могла входить в сны, читать мысли, наводить страх. Время, столько, сколько нужно, чтобы свершить всё, что я задумала. Я хочу быть орудием возмездия. Я хочу, чтобы каждый, кто виновен, заплатил - и не быстро, не легко, а так, как они того заслуживают. Сполна.

Сущность молчала. Её тело колыхалось, как водоросль в толще воды. Потом щель, заменявшая ей рот, приоткрылась, и из неё вырвался звук - долгий, протяжный. Это было похоже на смех.

- Твоя мать боялась даже помыслить о таком, - произнесла она. - Бабка твоя, та, что горела на костре, шептала моё имя лишь раз - и то шёпотом, зажмурившись. А ты стоишь передо мной нагая, как Ева до греха, и требуешь того, что я даю лишь избранным. Ты умна. Или безумна. Впрочем, это одно и то же.

Она приблизилась одним текучим, неуловимым движением. Её пальцы потянулись к лицу Агнешки и зависли в воздухе, не касаясь кожи.

- Ты знаешь цену, дитя Хелены. Ты знаешь, что я не даю ничего даром. Что отдашь взамен?

Агнешка не дрогнула.

- Всё, что пожелаешь. Мне нечего терять. То единственное, что у меня было, у меня отняли.

Сущность замерла. Свет в глазницах вспыхнул ярче, и на мгновение в парной стало светло как днём.

- Договор заключён, - прошелестела она. - Отныне ты - моя должница. Ты получишь то, о чём просишь, и даже больше.

Сущность торжествующе и ликующе рассмеялась. Она обхватила лицо Агнешки своими длинными пальцами и приникла к ней. Втянула в себя воздух долгим и утробным вдохом, и вместе с воздухом было видно, как она втягивает что-то светлое, тёплое, живое.

Агнешка выгнулась дугой. Свеча вспыхнула так ярко, что стало больно глазам. И в этом свете на миг слились воедино женщина и демон, прошлое и будущее, дар предков и новая, страшная мощь, не имевшая имени.

- Ты получила, что просила, - сказала сущность. - Теперь иди и сверши свою месть. А когда придёт срок - я вернусь.

Сущность начала таять. Её очертания теряли чёткость. Она уходила нехотя, не желая покидать этот мир.

Но прежде чем исчезнуть совсем, она остановилась. Повернула голову туда, где в кустах бузины, за стеной, за щелью, лежал Сташек.

Агнешка, следуя её взгляду, тоже повернулась.

Их взгляды встретились - взгляд медовых глаз, горящих новым, потусторонним огнём, и взгляд голубых глаз, расширенных от ужаса до предела.

Сташек понял, что обнаружен. Он хотел отпрянуть, хотел бежать, хотел хотя бы зажмуриться, но тело не слушалось. Страх приковал его к месту. Он не мог отвести взгляд.

Агнешка смотрела на него, прямо на него, сквозь брёвна. И в её глазах горел беспощадный, всепонимающий огонь. Она знала, что он здесь. Знала, кто он. Знала, что он видел. Знала - и решала его судьбу.

- Ты видел, - сказала она.

Это был не вопрос. Это был приговор, и прозвучал он прямо в голове Сташека так же, как звучал голос сущности.

В насмешку или в награду за его грешное любопытство, за его трусливое молчание, она предстала перед ним полностью. Свеча вспыхнула ярче, и пар расступился, открывая её всю.

Это было последнее, что увидел Сташек в своей жизни.

Первым уходило зрение - долгое, тягучее, мучительное погружение во тьму.

Свет начал меркнуть, как вечернее небо. Тени стали гуще. Пропали очертания каменки. Фигура Агнешки подёрнулась дымкой, стала прозрачной. Свет свечи начал удаляться, съёживаться, становиться всё меньше, пока не превратился в точку, в искру, в ничто.

Сташек мысленно кричал, цеплялся за уходящий свет, но свет уходил равнодушно и неумолимо. И когда последняя искра погасла, наступила тьма. Абсолютная, бездонная, вечная.

Потом стали исчезать самые тихие звуки: шорох ветра, плеск воды, стрекот сверчка. Потом звуки средней громкости: скрип ветвей, собственное дыхание. Даже биение сердца стало затихать, как барабан, в который бьют на другом берегу реки. Наступила тишина, какой не бывает в мире живых, - абсолютный ноль. Тишина, в которой тонут мысли и время останавливается.

Пришла очередь речи. Язык стал чужим, раздулся, заполнил весь рот. Сташек попытался закричать, но горло его сжал спазм. Он попытался выдавить из себя хоть звук, но губы не слушались, одеревенели. Он открывал и закрывал рот, как рыба на берегу, и воздух проходил сквозь гортань беззвучно.

Он не помнил, как выбрался из кустов. Не помнил, как дополз до деревни. Не помнил, как его, обеспамятевшего, нашли утром у порога отцовской хаты - грязного, в крови, с широко открытыми глазами, которые смотрели в небо и ничего не видели.

Мать голосила над ним. Я пришёл сразу же, как мне сообщили. Отец его, старый Петр, стоял у печи и молчал, и только желваки ходили на его скулах. Бабка шептала заговоры - я не препятствовал, ибо видел: тут нужна не одна лишь молитва. Я кропил святой водой и читал молитвы - сперва по-латыни, потом, видя, что не помогает, по-польски, простыми словами, идущими от сердца.

Ничто не помогало.

Сташек остался таким навсегда. Он сидел на лавке у окна день за днём, и лицо его, прежде мечтательное и светлое, стало лицом старика: пустым, безразличным. Я часто навещал его, садился рядом, брал его безвольную руку в свою. Расскажи он о заговоре - и, быть может, вся последующая история пошла бы иначе. Быть может, кузнеца Марека успели бы предупредить. Быть может, убийства не случилось бы вовсе. Но судьба, как известно, не любит сослагательного наклонения, а Господь, даруя нам свободу, не отменяет последствий наших поступков - или нашего молчания.

Единственное, что осталось у Сташека от той ночи, - это обоняние. Аромат мёда, который с тех пор начал появляться в деревне всё чаще. Запах преследовал его, как проклятие, и напоминал о том, что он видел. О той, что заключила договор. О той, что стала Медовой ведьмой.

Больше он не видел ничего. Не слышал ничего. Не сказал ничего.

Никогда.

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

Пишу со слов тех, кто был ещё жив, когда я начал свою хронику, и тех, кто уже переступил порог вечности, но успел поведать мне то, что считал нужным. Пан Ян Ковальский, учитель из соседнего села, передал мне свои наблюдения в письме, которое я храню за пазухой. Марта, вдова, рассказала мне о своих встречах с Агнешкой перед отъездом в Люблин. Даже старый Ицхак, шинкарь, прежде чем покинуть Згниле-Блоту, обмолвился кое-чем, сидя у меня в каморке за кружкой липового чая. Из этих обрывков, как из лоскутов, я и сшиваю эту ткань. А что видел сам, о том пишу прямо, не таясь. Ибо перед Богом и перед смертью ложь не имеет смысла.

Есть в Польше, в её глухих болотистых углах, такие места, которые Господь забыл в самый первый день творения, когда отделял свет от тьмы. На месте этих мест Он ничего не разделил, оставил как было, мутно и сыро, и пошёл дальше.

Деревня Згниле-Блота, что притулилась к самому краю великих Топельских болот, принадлежала именно к таким местам, и я, прожив здесь без малого двадцать лет, могу засвидетельствовать это со всей ответственностью пастыря, возненавидевшего свою паству той любовью, какую питает узник к своей темнице.

Если взглянуть на неё с пригорка, где стоял покосившийся костёл Святого Креста, взгляд твой не обрадуется ничему. Хаты лепились одна к другой, как старухи на паперти, - кривые, вросшие по самые окна в землю, крытые почерневшей соломой, которую никто не думал менять. Плетни, упавшие наземь, так и лежали - их не поднимали, потому что не было ни сил, ни охоты. Единственная улица, гордо именуемая жителями Варшавским шляхом, была узкой, кривой и в таких рытвинах, что в самую засуху в них стояла вода, и куры, переходя улицу, поджимали лапки и возмущённо квохтали.

Над деревней с Покрова до Пасхи висело тяжёлое, низкое небо, как намокший потолок. Дым из труб не уходил в небеса, а стлался по земле, и деревня постоянно была окутана сизым покрывалом, пахнущим горелым торфом и чем-то затхлым, болотным, запахом, что вязнет в одежде и не вымывается никаким щёлоком.

Я привык к нему так, что переставал замечать, и лишь изредка, выходя из костёла после мессы, ловил себя на мысли, что и сам пропах болотом насквозь.

С севера подпирали деревню Топельские великиеи бескрайние болота, про которые старые люди говорили, что дна у них нет и что уходят они прямо в преисподнюю. Болото дышало. Иначе не скажешь: каждую ночь с его поверхности поднимался тёплый туман, который к утру заливал деревню по самые крыши, и люди ходили в нём, как рыбы в мутной воде.

В деревне жило около двухсот душ. Жили так, как жили их деды и прадеды: работали, пили, дрались, рожали детей и хоронили стариков. Жизнь текла медленно и одинаково, как вода в заболоченной канаве, - никуда не торопясь и никуда не прибывая. Я наблюдал эту жизнь из года в год, из исповеди в исповедь, и часто думал, что самый тяжкий грех моей паствы не пьянство, не блуд и не сквернословие, а глубокая, необоримая лень души, нежелание хоть на вершок подняться над собой.

Я служил здесь второй десяток лет и давно понял, что деревенское духовенство есть нечто среднее между лекарем, судьёй и козлом отпущения. Мессы мои посещали охотно, к исповеди шли неохотно, и я думал иногда - то ли они боятся открыться перед Богом, то ли не знают, чем одно от другого отличается. Сам я давно перестал ждать от паствы духовных подвигов и радовался малому: тому, что не бьют стёкол в костёле, тому, что по воскресеньям хоть кто-то приходит, тому, что дети знают «Отче наш». Верил ли я, что моё служение что-то меняет? Стыдно признаться, но с каждым годом вера эта теплилась всё слабее. Я продолжал служить по инерции, как продолжает катиться колесо, которое давно перестали толкать.

За годы служения я узнал каждого прихожанина не просто по лицу, а по голосу, по походке, по тому, как кто-то робко крестится у входа, озираясь по сторонам, а кто-то уверенно проходит к своему месту, не спрашивая ни у кого разрешения. Их было немного, и каждый

стал мне почти родным - той особенной, болезненной роднёй, когда ты знаешь о человеке всё, включая то, что он сам от себя прячет, и всё равно не можешь ему помочь.

Недалеко от церкви Шинкарь Ицхак держал единственную в деревне корчму - низкое длинное строение с закопчёнными стенами и столами, которые помнили ещё польского короля. Был он человеком молчаливым, наблюдательным и в деревенские дела принципиально не вмешивающимся, из чего я заключаю, что природа наделила его не только трудолюбием, но и незаурядным умом. Он видел всё - и молчал. Я видел почти всё - и тоже молчал. В этом смысле мы были похожи, хотя и по-разному стыдились своего молчания: я - потому что был пастырем, обязанным говорить, даже когда слова режут горло; он - потому что был евреем в польской деревне, обязанным выживать, а выживание часто требует молчания.

Завсегдатаями корчмы были братья-бондари двое здоровенных дубин, которых природа одарила телосложением, но позабыла про разум. На исповеди они не бывали вовсе, и я знал о них только то, что рассказывали другие, а именно, что драчуны они и пьяницы, но работники отменные, когда хотели работать. Хромомой Войтек - подмастерье кузнеца. Паренёк лет двадцати пяти, с больной ногой и ещё более больной душой, в которой застарелая обида на весь мир перебродила в нечто тёмное и горькое. Он приходил ко мне изредка, каялся в зависти и унынии, но всякий раз, получив отпущение, возвращался к тому же, и я видел: его грех был не в отдельных поступках, а в самом устройстве души, искорёженном, как его нога.

Языкастая, злобная, как ошипанная гусыня Ядвига. Я выслушивал её исповеди с тем же чувством, с каким пьёшь горькое лекарство, морщась, но понимая необходимость. Она каялась в гневе, в зависти, в том, что желала соседке зла, и в следующее воскресенье приходила с теми же грехами, только приумноженными.

Пани Гануся - набожная до суеверия. Она была из тех, кто верит в Бога, но ещё больше верит в сглаз, порчу и привороты, кто носит на шее три крестика и всё равно боится чёрной кошки. Она всегда находилась в компании сестер-молочниц Зоси и Каси. Первая завидовала всему прекрасному и втайне мечтала о панском выезде, о шелках и кружевах, которых ей никогда не носить, вторая завидовала любой власти над мужчинами и давно разучилась мечтать о чём-либо, кроме тихой, спокойной жизни, где никто не будет на неё кричать. Обе ходили в костёл исправно, ставили свечи, клали поклоны, но я чувствовал: их мысли и во время мессы витали далеко от алтаря.

Была у меня одна тихая радость - дружба с паном Яном Ковальским, учителем из соседнего села. Он приезжал раз в месяц, высокий, сутулый, в очках, которые вечно сползали на кончик носа, и мы проводили вечера за беседой и шахматами. Был он человеком образованным, но без тени высокомерия, он мог говорить о Канте и Вольтере, а через минуту уже рассказывал деревенскому мальчишке, как складывать буквы в слоги. Он знал латынь, историю, географию и умел рассказывать о дальних странах так, что я, слушая его, забывал о болоте за окном и о том, что завтра снова нужно служить мессу для людей, которые спят на проповеди.

Мы играли в шахматы при свечах, пили липовый чай с мёдом, мёд у нас был свой, пасечный, густой и тёмный, как янтарь, и говорили о вещах, далёких от деревенских дрызг: о строении мира, о движении планет, о природе зла, о том, есть ли у животных душа и куда деваются некрещёные младенцы. Эти вечера были для меня глотком свежего воздуха, тем малым, что примиряло с жизнью в Згниле-Блотах. Пан Ян никогда не спрашивал о том, что творится в деревне, он был слишком тактичен для этого, и я не рассказывал, ибо мы оба понимали, что есть знание, которое разрушает покой, и есть молчание, которое его сохраняет.

Однажды, в начале сентября, пан Ян приехал не в обычный свой день, а на день раньше, под вечер, когда я запираю костёл после вечерней молитвы. Я заметил это сразу, он всегда был точен, как часы, которые носил в кармане жилета, и любое отклонение от привычного распорядка заставляло меня тревожиться.

- Святой отец, - сказал он вместо приветствия, и голос его, обычно ровный и спокойный, дрожал. - Я к вам не по шахматам. Хотя и по ним тоже.

Он был бледнее обычного, и как-то непривычно взъерошен: очки съехали набок, воротник камзола расстёгнут, на рукаве чернильное пятно, будто он писал и вдруг бросил перо на полпути. Я провёл его в свою каморку, усадил на лавку, налил горячего липового чаю и сел напротив, ожидая.

- Что стряслось, пан Ян? - спросил я, стараясь, чтобы голос звучал ровно, хотя внутри уже шевельнулось тревожное, холодное предчувствие.

Он долго молчал, грея руки о горячую кружку, сжимая её так, что побелели костяшки пальцев. Потом поднял голову, посмотрел на меня поверх очков - взглядом, в котором смешались удивление и страх, - и сказал:

- Вы знаете, святой отец, я человек науки. Я верю в то, что можно измерить, взвесить, потрогать. Но вчера ночью случилось то, чего я не могу объяснить. И это меня пугает. Не потому, что я не знаю ответа, а потому, что ответа, возможно, нет.

Он замолчал, отхлебнул чаю, обжёгся, поморщился. Я ждал.

Он рассказал. Как возвращался из соседнего села, где давал уроки детям местного войта, и решил сократить путь через край Топельских болот. Тропа была знакомая, он ходил по ней много раз и днём, и в сумерках, и даже ночью, когда луна светила достаточно ярко, чтобы различать кочки. Но в этот вечер всё пошло не так с самого начала. Сначала он сбился с пути, хотя луна светила ярко и дорога была видна отчётливо, как на ладони. Шёл прямо, сверяясь со звёздами, но через некоторое время обнаружил, что вышел к той же кривой сосне, мимо которой проходил уже дважды. Он повернул в другую сторону и снова оказался у той же сосны. Он начал кружить, возвращаясь на одно и то же место, как заколдованный, как тот путник в старых сказках, которого леший водит по кругу, пока он не обезумеет или не рассветёт.

- Я услышал голос, - продолжал он.

- Какой голос? - спросил я, хотя уже знал ответ. Или думал, что знаю.

- Женский, - ответил пан Ян, - Она пела. Тихо, без слов - одну только мелодию. Знаете, бывают такие напевы, от которых сердце заходится и останавливается, а потом бьётся снова, но уже не так, как прежде? Я пошёл на звук и вышел к старой липе, что растёт посреди трясины, на маленьком островке, который, говорят, никогда не тонет. Там, в дупле, горел огонь и древняя, сморщенная старуха, как прошлогодний гриб, которого никто не сорвал, сидела у огня и курила трубку.

Она посмотрела на меня, и в её глазах, святой отец, было всё. Вся память этой земли. Все тайны, которые люди пытаются разгадать тысячелетиями. Она посмотрела на меня и сказала: «Не туда идёшь, учитель. Возвращайся, пока тропа не закрылась навсегда». Я хотел спросить, кто она, откуда знает меня, что значит «тропа закрылась», но она засмеялась, беззубым, каркающим смехом, и добавила: «Скоро в ваших краях такое начнётся, что мёртвые позавидуют живым. Запомни этот день, он последний тихий. Последний, когда можно спать спокойно, не оглядываясь».

Пан Ян замолчал и отхлебнул чаю. Руки его, державшие кружку, дрожали мелкой, неприятной дрожью.

- Я не суеверен, святой отец, - сказал он наконец, ставя кружку на стол и прижимая ладони к коленям, чтобы унять дрожь. - Вы меня знаете. Я не верю в домовых, в русалок, в ведьм на помеле. Я верю в факты, в доказательства, в логику. Но когда я шёл обратно, а шёл я очень быстро, поверьте, - я чувствовал, что за мной кто-то смотрит. Не человек. Не зверь. Что-то другое. Что-то, что было там задолго до нас и будет там после нас. Вы ведь знаете, кто эта старуха?

Я знал. Это была Бабця-Корень - знахарка, о которой я не любил говорить, и которую я, признаться, побаивался, хотя как пастырь не должен бояться ничего, кроме Господа. И слова её меня встревожили сильнее, чем я хотел показать.

- Пан Ян, - сказал я, стараясь, чтобы голос звучал твёрдо, - пообещайте мне, что больше не будете ходить через болото. Даже днём. Даже в компании. Даже с ружьём.

- Обещаю, - ответил он, и я увидел в его глазах облегчение - Но, святой отец, что она имела в виду? Что должно начаться? И когда?

Я не ответил. Я и сам не знал. Но уже через две недели, когда кузнец Марек въехал в деревню на своей телеге, а рядом с ним сидела она, я вспомнил слова старой знахарки.

Об Агнешке до её появления в Згниле-Блотах я немного знаю. То, что узнал от неё самой, в тот единственный раз, когда она пришла ко мне не для исповеди, а для разговора, который я до сих пор не могу назвать ни таинством, ни беседой, ни чем-либо ещё. То, что пересказала мне Марта, перед отъездом. И то, что удалось выведать у старых людей в Кракове, куда я съездил спустя год после всех событий, надеясь отыскать следы.

Её мать, Хелена, была знахаркой, лечила травмами, принимала роды, заговаривала кровь. Жила она в предместье Кракова, в маленьком домике с палисадником, где росла рута и ещё какие-то травы, которым простые люди не знают названий. Отец Агнешки умер, когда девочке было семь лет. Утонул в Висле, по пьяному делу, как говорили соседи, хотя сама Агнешка всегда утверждала иное. После смерти мужа Хелена замкнулась, перестала принимать пациентов и всё свободное время проводила в молитвах. Она боялась того, что дремало в её дочери, той крови, того самого дара, который передавался из поколения в поколение, от прабабки Марианны, умевшей входить в сны. Агнешка росла, не зная о своих способностях, или зная, но пряча их так глубоко, что сама забыла о них. До тех пор, пока не встретила Марека.

Кузнец Марек, мужик плечистый, статный, и руками, что гнули подковы, как ветки, уехал в Краков продавать плуги собственной работы. Дело своё он знал отменно, и железо в его руках становилось послушным, как тесто, и на всю округу славились марековы серпы, что не тупились даже после жатвы, и марековы гвозди, что не гнулись даже в дубовой доске. Я знал его как человека честного и набожного без показухи: он приходил на мессу каждое воскресенье, стоял у стены, сложив свои огромные руки, и слушал проповедь с таким вниманием, что я порой смущался, мне думалось, мои слова слишком просты для такого сосредоточенного слушателя. Уехал он в начале августа, а вернулся под самый Покров, и вернулся не один.

Слух о том, что кузнец привёз жену, пробежал по деревне ещё до того, как скрипнули колёса его телеги. Откуда узнали - Бог весть. Может, ветер донёс, может, сорока на хвосте принесла, а может, у деревенских баб имеется в запасе особый нюх на такие новости. Так или иначе, когда телега Марека, гружённая нехитрым скарбом, вкатилась на единственную улицу, по обеим её сторонам уже стояли любопытствующие. Я наблюдал эту сцену с паперти костёла, куда вышел, заслышав шум.

Марек сидел на облучке, как всегда, прямо и молчаливо, держа вожжи в своей ручище. Лицо его, грубое, обветренное, с перебитым в молодости носом и глубоким шрамом через левую скулу, не выражало ровным счётом ничего, но я, знавший его много лет, заметил в его глазах новое выражение: спокойную, твёрдую гордость. Рядом с ним, закутанная в заурядный серый плащ, сидела та, на ком сразу и намертво остановились взгляды всей улицы.

Она спрыгнула с телеги легко, опираясь на поданную мужем руку, спрыгнула и встала на землю, как кошка, которая всегда приземляется на четыре лапы, грациозно и бесшумно. Плащ её распахнулся, явив простую льняную свитку, перетянутую на тонкой талии вышитым пояском. Поясок был небогатый, но работа тонкая, видно, что делали его на заказ. Ни золота, ни кораллов, ни янтаря - всё обыденно, по-крестьянски, даже бедно. Но когда она подняла голову и обвела глазами собравшихся, мельком, без интереса, как смотрят на надоевший пей-

заж, по толпе пробежал гул, какой бывает в улье перед тем, как рой снимется с места и улетит неизвестно куда.

Я многое повидал на своём веку. Я видел благородных пани в краковских костёлах, видел дочерей шляхты на ярмарках, видел даже одну итальянскую графиню, проездом направляющуюся в Варшаву. Но то, что предстало моим глазам в тот день, было иной породы. Слишком белая, слишком плавная, слишком невозможная для этой прокопченной, заваливающей деревни. Даже бабы ахнули. А мужики просто онемели.

- Святой Антоний, - выдохнула пани Гануся и перекрестилась. Но перекрестилась она как-то неуверенно, вроде как сомневаясь, поможет ли тут крестное знамение.

Агнешка оглядела толпу спокойно, без вызова, чуть склонила голову в лёгком поклоне и, ничего не сказав, последовала за мужем в его хату, что стояла на отшибе, у самого спуска к болотам. Дверь за нею затворилась, но тишина на улице не рассеялась. Люди стояли ещё долго, глядя на закрытые ставни, и в воздухе висело что-то новое, тревожное, чего деревня Згниле-Блота не знала за всю свою долгую и скучную историю.

Я спросил Марека в тот вечер, когда он пришёл ко мне один, без жены, - пришёл, как он сказал, «по делу», хотя я сразу понял, что дело это не церковное, а человеческое. Он стоял у порога моей каморки, сжимая в руках шапку, и мял её, мял, пока она не превратилась в бесформенный комок.

- Святой отец, - сказал он, глядя в пол, - я хочу, чтобы вы благословили нас. Но прежде... прежде я должен вам кое-что сказать. Об Агнешке.

- Говори, сын мой, - ответил я, хотя внутри уже заворчалось предчувствие, не единожды меня обманувшее. - Я слушаю.

- Она не такая, как другие, - сказал с тревогой Марек. - И не только что красива. Красивых много. А потому, что... я не знаю, как объяснить. Когда я смотрю на неё, мне кажется, что я смотрю на огонь. Тепло, светло, хочется протянуть руки. Но знаешь, что огонь может обжечь. Я боюсь за неё. Люди... люди не любят того, что не понимают.

Я хотел сказать ему, что Господь не даёт человеку испытаний сверх сил, что любовь побеждает всё, что не надо бояться. Но слова застряли в горле. Потому что я видел этих людей. Я знал их. И я понимал, что страх Марека - не пустой страх.

Первые дни прошли в затишье. Она не показывалась на люди, и кузнец тоже сидел дома, хотя из кузницы его давно валил дым - там хозяйничал подмастерье, хромой Войтек. Деревня ждала. Мужики, проходя мимо хаты Марека, замедляли шаг, делая вид, что поправляют сапог или закуривают трубку. Бабы, набирая воду у колодца, что стоял как раз напротив кузницы, вытягивали шеи, как гуси, заслышав скрип двери. Но дверь не скрипела, и ставни оставались закрытыми.

На четвёртый день она вышла.

Я видел это своими глазами, я как раз возвращался от больного старика, который всю ночь кашлял кровью, и шёл мимо колодца, когда заметил движение у хаты кузнеца. Она несла на коромысле два пустых ведра, коромысло было дубовым, тяжёлым, таким, что иной мужик с трудом поднимет, и коромысло это лежало на её плечах легко, как если бы было сделано не из дуба, а из тополиного пуха. Шла она к колодцу, и те немногие, кто в этот час не спал, застыли, как соляные столбы, открыв рты и забыв закрыть.

Походка её была легка и плавна, так качается на ветру высокая трава на лугу, Плечи расправлены, спина прямая, ни малейшей сутулости, ни малейшего намёка на ту тяжесть, которая обычно давит на деревенских баб, согнутых работой, побоями, бесконечными родами и заботами. И во всей фигуре чувствовалась спокойная, уверенная сила, какой не бывает у простых деревенских баб.

У колодца она опустила ведро, длинную, скрипучую бадью на верёвке, набрала воды, вытянула его наверх легко, одной рукой, играючи, так, что верёвка пела, и перелила воду в свои вёдра. Капли упали на землю, и мужикам почудилось, что даже лужица, образовавшаяся у её ног блестит на солнце ярче, чем все прочие лужи в деревне.

Пан Загребский, случившийся в то утро проездом через Згниле-Блоту, ехал на своём гнедом коне и курил трубку, вставленную в длинный мундштук из вишневого дерева, - мундштук этот был его гордостью, он привёз его из Вены и никому не давал в руки. Шляхтич, владелец небольшого фольварка с пасекой в полуверсте от деревни, человек образованный, читавший рыцарские романы и мнивший себя героем одного из них, - вылитый дон Кихот, только без Санчо Пансы. Был он смешон и трогателен одновременно: говорил вычурно, с оборотами, которые никто не понимал, одевался по моде десятилетней давности, так что его кунтуш с золотым позументом уже успел выйти из моды, и всё ждал случая совершить подвиг, спасти прекрасную даму, победить дракона, освободить заколдованный замок. Я исповедовал его чаще других. Имел он чувствительную совесть и каялся в таких грехах, которые другой счёл бы пустяком: в том, что пристрастился к сладкому в пост, в том, что засмотрелся на крестьянскую девушку и поймал себя на нечистой мысли. Я отпускал ему грехи с лёгким сердцем, ибо чуял: этому человеку прощается многое за доброту его натуры, за его наивность и за ту искреннюю веру в добро, которую он пронёс через всю жизнь, несмотря ни на что.

Увидев Агнешку, он поперхнулся дымом, закашлялся, выронил венскую трубку, сделанную искусно из вишневого дерева в грязь и даже не заметил этого. Конь его, почуяв неладное, встал как вкопанный и тоскливо, протяжно заржал, как ржут лошади перед грозой, - но пан Загребский не слышал ни коня, ни собственного кашля. Он смотрел на Агнешку, и в глазах его разгорался огонь, который старые люди называют «бес в ребро», а молодые - «любовь с первого взгляда».

Агнешка же, набрав воды, ушла обратно в хату, так и не взглянув ни на кого. Дверь за нею плотно затворилась и деревня, сбросив оцепенение, загудела, зашептала, засустилась.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Есть в нашей грешной природе такая особенность: чем недоступнее предмет, тем он желаннее. Камень, лежащий на дороге, никому не нужен, и всякий через него перешагивает либо пинает с досады. Но стоит только на тот же камень накинуть бархат и объявить, что трогать его нельзя, и вот целая толпа желающих протягивает к нему руки, и каждый мнит, что лишь ему по праву должен принадлежать этот кусок булыжника. Я, будучи духовником, наблюдал сей парадокс столько раз, что перестал ему удивляться, но так и не привык к тому, какие бездны он открывает в людях, казалось бы, самых заурядных.

С того самого дня, как Агнешка прошла по деревне с коромыслом, и до той чёрной ночи, прошло около двух месяцев. И месяцы эти не были похожи на обычное деревенское житьё-бытьё. Осень, нависшая над Згниле-Блотами, просочилась в души людей и окрасила их в свой серый, больной цвет. Я видел это по воскресеньям, когда паства собиралась на мессу, лица становились всё более осунувшимися, взгляды, всё более блуждающими, и даже пение псалмов, прежде звучавшее бодро, теперь напоминало вой.

Начать с того, что погода в тот год стояла вовсе несуразная. Старики говорили, что такого не помнят со времён шведской войны. Ноябрь перевалил за середину, а снега всё не было. Дым из труб не поднимался вверх, а растекался во все стороны, и деревня постоянно была окутана сизым, удушливым покрывалом. У стариков ныли кости, у детей не проходил кашель, а у скотины слезились глаза. Я отслужил три молебна подряд и устроил крестный ход вокруг деревни, но толку вышло мало: свечи гасли на ветру, хоругви намокали и липли к деревкам,

а святая вода, которой я кропил поля, впитывалась в землю, не оставляя следа. Прихожане расходились с крестного хода молчаливые и ещё более подавленные, чем до него.

В этой-то сырой, туманной, пропитанной нездоровыми испарениями атмосфере и начали твориться дела, о которых я потом, много лет спустя, вспоминал шёпотом и крестясь.

Первым, на ком отразилось наваждение, был я сам, и признаюсь в этом с тем большим стыдом, что грех мой был не в действии, а в помысле, но оттого он не стал менее жгуч. Ибо если миряне грешили по неведению или по слабости плоти, то я, служитель алтаря, должен был быть выше этого.

Случилось это в одно из воскресений, когда Агнешка впервые после переезда пришла на мессу. До того она молилась дома, то ли стеснялась, то ли не хотела лишний раз мозолить глаза деревенским бабам. Но в то воскресенье она надела свой белый платок с красной каймой, тёмную юбку и серую свитку, перетянутую вышитым пояском, и отправилась в костёл. Я заметил её сразу, едва она переступила порог, - и тотчас ощутил, как воздух в храме переменялся.

Появление её произвело эффект, какой бывает, если в курятник залетит фазан, пёстрый, шумный, нездешний. Бабы, рассеявшиеся по лавкам, разом смолкли и повернули головы, мужики, стоявшие у стен, вытянули шеи и даже дети, обычно возившиеся и шушукающиеся, замерли и уставились на неё. Агнешка прошла в дальний угол, к боковому приделу, где висела старая икона Богородицы с потускневшим окладом, встала скромно, опустив взгляд, сложила руки на груди и принялась молиться. И молилась она так истово, с таким тихим, но осязаемым жаром, что даже самые злые языки не могли бы упрекнуть её в лицемерии.

Я начал мессу, как обычно, неторопливо, густым басом, стараясь сосредоточиться на таинстве, на словах, которые произносил тысячи раз и которые, должны были литься сами собой, без усилий. Но когда я поднял глаза от требника, взгляд мой, сам собой, без моего ведома, упал на неё и застрял. Прямо на словах «*Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine\**» - \*«*И воплотился от Духа Святого и Марии Девы*», - я сбился как путник, который вдруг забыл, куда шёл.

Поморгал, потёр лоб рукавом сутаны, снова уткнулся в книгу, нашёл нужное место, продолжил. Но через минуту опять поднял глаза и опять застыл.

Это было наваждение, стыдное и неодолимое. Я глядел на склонённую голову Агнешки, на то, как падает свет от алтарных свечей на её волосы, превращая их в расплавленное золото, на то, как тонкие пальцы перебирают узелки платка, нервно, но изящно, на то, как тени ресниц ложатся на щёки, и чувствовал, как в груди поднимается что-то горячее, что-то давно забытое, что-то, чего я не испытывал уже много лет, с тех самых пор, как принял сан и дал обет безбрачия.

Прихожане начали переглядываться. Пани Гануся, сидевшая ближе всех к алтарю, на первой скамье, потом клялась, что видела, как у меня дрожали руки, как капли пота выступили на лбу, несмотря на то что в костёле было холодно, так холодно, что пар шёл изо рта. Мессу я кое-как довёл до конца - слова выходили с трудом, как будто их приходилось выталкивать из себя силой, - но проповедь, которую я произнёс после Евангелия, была до того сбивчива и туманна, что никто ничего не понял. Я говорил о блудницах вавилонских, о соблазнах плоти, о красоте как орудии сатаны - и при этом так часто поглядывал в угол, где стояла Агнешка, что даже самые недогадливые из прихожан смекнули, в чём дело, и зашушукались, переглядываясь и подталкивая друг друга локтями.

Агнешка, если и заметила что-то, не подала виду. Она стояла с опущенными глазами, и только когда я начал проповедь, на долю секунды подняла взгляд и наши глаза встретились. В её взгляде не было ни вызова, ни насмешки, ни той сладкой муки, которую, наверное, ждал бы на моём месте другой.

После службы я поспешно удалился в ризницу и долго не выходил. Служка мой, мальчишка Ясек, которого я держал при костёле для помощи, рассказывал потом, что я стоял на

коленях перед распятием и шептал что-то такое, чего он не разобрал, но от чего у него мурашки пошли по коже, и он выбежал вон, забыв закрыть дверь.

Это была чистая правда. Я молился, но молитва моя была отчаянной и почти безнадёжной, как молитва человека, который знает, что просит о невозможном. Я просил Господа избавить меня от наваждения, выжечь его калёным железом, стереть из памяти. Это было восхищение, граничащее с благоговением, восторг перед творением, которое я, по долгу своему, должен был бы вести к Творцу, но которое само, без всяких усилий, вело меня куда-то в сторону от Него. Я видел в ней не женщину, а творение совершенное, как стих псалма, и оттого ещё более опасное для души священника.

На следующее утро я объявил, что накладываю на себя строгий пост и неделю не буду выходить из дома, ибо чувствую нездоровье. Я действительно заболел - не телом, а духом, и болезнь эта была хуже любой телесной, потому что у неё не было ни названия, ни лекарства. Сидел в своей каморке при костёле, перечитывал Экклезиаста - «Суета сует, всё суета», - и пытался понять, почему Господь допустил, чтобы Его служитель впал в такое искушение? И ответ, который я нашёл, не утешил меня. Я понял, что красота Агнешки была испытанием для всей деревни, и я, пастырь, должен был первым пройти через него и первым подать пример стойкости. А вместо этого я сбился посреди «Credo».

Позже, в разговоре с паном Яном, я попытался объяснить ему, что со мной произошло. Он слушал молча, поправляя очки, и только когда я закончил, сказал:

- Святой отец, вы слишком строги к себе. Вы человек, а не камень. Искушение - это не грех, грех - это уступка ему. Вы не уступили.

- Я сбился посреди мессы, - ответил я. - Я смотрел на неё, когда должен был смотреть в алтарь. Я думал о ней, когда должен был думать о Боге. Это ли не уступка?

Пан Ян помолчал, потом сказал:

- Может быть, Господь послал вам это испытание, чтобы вы лучше поняли свою паству. Вы всегда смотрели на них сверху вниз, с высоты своего сана. А теперь вы знаете, каково это хотеть того, чего нельзя. Теперь вы один из них.

Я не знал, благодарить его за эти слова или обижаться. Но в них была правда.

Деревня, разумеется, тут же наполнилась слухами. Одни говорили, что я увидел в Агнешке святую - и ужаснулся собственной греховности, другие, что я узрел в ней дьяволицу и теперь отмаливаю испуг, третьи, самые злые, шептали, что старый ксёндз попросту влюбился, как мальчишка, и теперь сохнет по ней, как все остальные мужики. Последнее было ближе всего к истине, хотя и не исчерпывало её. Я не был влюблён - я был потрясён, и это потрясение обнажило всю ветхость моей души.

Через неделю я вышел из затвора. Отслужил мессу, и на сей раз твёрдо, не поднимая глаз от требника, не глядя в стороны, не позволяя себе ни единого лишнего взгляда. И с того дня я дал себе зарок не приближаться к Агнешке, не заговаривать с ней, не смотреть на неё дольше, чем того требует приличие, и даже на это время, если возможно, смотреть не на неё, а сквозь неё. Я решил, что моя битва выиграна, что я подавил в себе греховное чувство, вырвал его с корнем, сжёг. Но это было лишь началом войны, которую вела вся деревня, и я, её пастырь, был не главнокомандующим, а всего лишь солдатом, который только что потерял своё ружьё.

В те дни, когда я сидел в затворе и боролся с собственными демонами, случилось событие, которое ненадолго вернуло мне душевное равновесие. Пан Ян Ковальский, учитель из соседнего села, приехал с очередным визитом, не зная о моём добровольном заточении. Он постучал в дверь моей каморки настойчиво, требовательно, так, что я не мог не открыть, и я, нарушив обет не выходить и не впускать, впустил его. Мы просидели до поздней ночи, и этот вечер стал для меня спасительным, тем глотком свежего воздуха, без которого я, возможно, задохнулся бы в собственной тоске.

Пан Ян привёз новую книгу «Трактат о движении небесных сфер», изданный в Кракове, с гравюрами и схемами, которые я разглядывал с жадностью, ибо давно не видел ничего, кроме болотной воды и грязных улиц. Мы разложили её на столе и принялись обсуждать, вертится ли Земля вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли, вопрос, который для богослова был не прост, ибо Писание говорило об одном, а разум о другом. Пан Ян, как человек учёный, склонялся к первому, я же, как человек Церкви, осторожно защищал второе, хотя в душе уже давно подозревал, что прав не я.

Спор наш был тихим и добродушным, мы не стремились переубедить друг друга, а лишь наслаждались самим процессом философствования.

Потом мы играли в шахматы. Пан Ян, против обыкновения, проиграл он был рассеян и несколько раз подставлял ферзя, чего за ним никогда не водилось. Я заметил, что он чем-то озабочен, и спросил напрямик - мы были достаточно старыми друзьями, чтобы не ходить вокруг да около.

- У нас в селе беспокойно, - сказал он, поправляя очки, которые, как всегда, сползли на кончик носа. - Люди стали какие-то дёрганые, злые. Вчера мужики подрались на ярмарке из-за пустяка - из-за того, кому первому покупать поросёнка. Дрались серьёзно, с ножами, одного пришлось вязать. А в соседней деревне, говорят, баба выгнала мужа из дому, кричала, что он ей изменил с мельничихой, а он, бедный, и не думал ни о какой мельничихе. Что-то носится в воздухе, святой отец. Что-то нехорошее. Я не знаю, что это, но я чувствую это кожей.

Я не сказал ему, что источник этого беспокойства находится в моём приходе, в этой проклятой деревне, которую я, грешный, уже начинал ненавидеть. Я не хотел, чтобы он уехал и больше не вернулся, он был моей последней связью с внешним миром, с миром, где люди читают книги, играют в шахматы и спорят о движении планет, а не о том, кто на кого посмотрел и кто кому изменил. Вместо этого я предложил ему ещё чаю и перевёл разговор на другую тему, на историю, на древних греков, лишь бы не возвращаться к тому, что творилось за окном.

Но когда он уехал на следующее утро - рано, едва рассвело, потому что ему нужно было быть в школе к полудню, я долго стоял у окна и смотрел ему вслед, и на душе у меня было тяжело. Я чувствовал, что теряю что-то важное, что-то, что держало меня на плаву. И не знал, смогу ли удержаться без этой опоры.

Что же до мирян, то с ними дела обстояли много хуже. Каждый мужик в деревне, от мала до велика, от подростка, у которого ещё и усы не пробились, до старика, который едва волочил ноги, впал в состояние, которое я на исповедях называл «сохлым сердцем», а про себя именовал любовной горячкой, той самой, о которой пишут во французских романах, но которая в нашей польской глуши приобретала особые, более грубые и страшные формы. Но это была не та любовь, о которой поют песни на вечерницах и которую воспевают поэты в своих стихах - не та любовь, что окрыляет, вдохновляет, заставляет совершать подвиги и писать стихи. Любовь, похожая на болезнь, на лихорадку, на безумие. Любовь, которая не окрыляет, а пригибает к земле, не даёт вздохнуть, не даёт поднять голову.

Мельник Гаврила держал мельницу в четверти версты от деревни, там, где река ещё не успевала слиться с болотом, и вода была чище, хотя всё равно пахла тиной. Был он мужик дюжий, с руками как обухи топора и голосом, от которого дрожала посуда на полках в ближайших хатах. Умом не блистал, читать не умел, писать тем более, считать мог только до ста, и то сбивался. На исповеди он бывал раз в год, перед Пасхой, каялся в чревоугодии и гневливости, но каялся так, как докладывают о выполненной работе, без тени сокрушения, без надежды на исправление просто потому, что так положено.

Гаврила, прежде никогда не мывший шею, на ней можно было пахать, как на запущенном поле, стал каждое утро обливаться холодной водой, несмотря на то что ноябрь стоял холодный,

и даже купил у шинкаря кусок душистого мыла, чем немало удивил Ицхака, который прежде думал, что Гаврила мыло только в ругательствах употребляет.

Он, прежде круглый, как бочка, с животом, который выпирал из-за пояса, спал с лица так, что кожа на щеках повисла складками, и стал он похож на старого тощего цепного пса, которого держат на привязи и кормят раз в день.

Пан Загребский, и без того следивший за своей шляхетской внешностью тратил на себя больше времени, чем его жена на хозяйство, теперь и вовсе превратился в столичного франта. Заказал себе новый кунтуш с золотым позументом, такой, что даже пан староста не носил, завивал усы каждое утро специальными щипцами, которые велел привезти из Кракова, и прыскался розовой водой, от которой за версту разило так, что лошади чихали.

Забыв о шляхетском гоноре и о своём фольварке, который приходил в упадок без примотра, зачастил в деревню под нелепыми предложениями. Он проезжал через Згниле-Блоту почти каждый день, и его конь, умное животное, уже сам останавливался напротив хаты кузнеца, не дожидаясь команды, и поворачивал голову к дому, будто тоже хотел увидеть ту, ради которой хозяин бросал всё.

Даже старый войт Казимир, который последние десять лет одевался кое-как, начал подстригать бороду и чистить сапоги перед каждым выходом из дому, так что они блестели, как зеркало. Его жена, пани Барбара, была так поражена этой переменой. Казимир правил деревней вот уже двадцать лет и за это время так сросся со своей должностью, что отличал себя от неё с трудом. Он умел находить общий язык с теми, от кого зависел, - находил с помощью жирных гусей, корчажек мёда и умения молчать о нужных вещах в нужное время. Жену свою, пани Барбару, он давно не замечал, и она отвечала ему тем же, находя утешение в нарядах, которые выписывала из Кракова, и в пересудах с соседками.

Человеком он был солидным, под шестьдесят, с брюхом, нажитым долгими годами сидения в управе и поглощения колбас. И вот теперь этот солидный человек, отец троих взрослых дочерей и дед пятерых внуков, начал вести себя так, что впору было звать ксендза не для исповеди, а с кропилом, чтобы отчитать дом от бесов. Он стал появляться у кузницы без всякой надобности, заводил с Марекком долгие, бессмысленные разговоры о налогах и податях, о ремонте дорог и о состоянии мостов, а сам косил глазом на дверь хаты, ожидая, не мелькнёт ли там светлая коса, не распахнётся ли дверь, не выйдет ли она. Когда же Агнешка проходила мимо, войт умолкал на полуслове, краснел, как мальчишка, которому впервые понравилась девочка, и начинал теревить воротник рубахи, и можно было подумать, что тот его душит.

- Нет, пани Барбара, - сказал я тогда его жене, стараясь, чтобы голос звучал спокойно, хотя внутри у меня всё сжималось от тоски. - Не вселился бес. Это наваждение, и оно пройдёт. Молитесь. Молитесь усерднее.

Она ушла, но я видел по её лицу - по тому, как дёрнулась её губа, как опустились уголки рта, как потускнели глаза, - что она не поверила ни единому моему слову.

Но все эти ухищрения мытьё, притирания, новые кунтуши и начищенные сапоги не производили на Агнешку ровным счётом никакого впечатления. Она проходила мимо, словно они были не людьми, а частью пейзажа, и если отвечала на приветствия, то коротко и сухо. Это равнодушие действовало на мужиков сильнее любого кокетства, сильнее самой откровенной похоти, потому что они привыкли, что баба - это существо податливое и если на неё надавить, она прогнётся, если приласкать, то растает, а если пригрозить, то испугается. А эта не гнулась и не таяла, не пугалась и не уступала. Она была холодная и совершенно неприступная.

И чем неприступнее она была, чем меньше уступала их желаниям, тем сильнее распалось их воображение. Они начали придумывать себе то, чего не было и быть не могло. Каждый её жест, каждый взгляд, каждое движение губ толковались превратно, вкривь и вкось. Если она поправляла платок, значит, подавала тайный знак, приглашала, кокетничала. Если оборачива-

лась на улице, значит, хотела, чтобы за ней шли, следили, ловили каждый её шаг. Если в её взгляде мелькало что-то похожее на улыбку, значит, она смеялась над ними, над их мужской несостоятельностью, над их никчёмностью, над тем, что они не могут добиться даже того, что любой другой мужик в любой другой деревне получил бы без труда.

Но если мужики сохли и безумели от любви, то бабы безумели от ненависти. И ненависть эта была особого рода: она не вспыхивала и не гасла, как солома, а тлела непрерывно, как торфяное болото, уходя вглубь и отравляя всё вокруг. Я видел это по их лицам в костёле - лицам, искажённым такой злобой, что они переставали быть человеческими.

Ядвига в девичестве слыла первой красавицей на всю округу. Ещё двадцать лет назад парни дрались за право проводить её до дома - дрались серьёзно, с кровью, с переломанными носами и выбитыми зубами, - а старики, глядя на неё, цокали языками и говорили: «Повезёт же кому-то. Такую красоту не каждый день увидишь». Повезло кожевнику, тихому, работающему мужику, который не дрался ни с кем, даже когда его провоцировали, а однажды подошёл и сказал: «Выходи за меня, Ядвига. Я тебя не обижу». Она вышла. Родила троих. Раздалась в бёдрах, обветрила лицо, стёрла руки о корыто и прялку, потеряла два зуба и половину волос. От прежней красоты остались только глаза, большие, выразительные, когда-то синие, а теперь потускневшие. Когда она увидела Агнешку, то почувствовала не просто зависть, она почувствовала, что у неё украли её саму, ту прежнюю Ядвигу, на которую оборачивались. И за это она возненавидела Агнешку так, как можно ненавидеть только собственное отражение в зеркале, когда оно показывает тебе то, что ты потеряла и никогда не вернёшь.

Они собирались по вечерам то у одной, то у другой, садились за прялки и начинали свои бесконечные, шипящие разговоры. Я знал об этих сборищах - мне рассказывали на исповедях, и каждая кающаяся прибавляла: «Но другие-то ещё хуже говорят, святой отец». Голоса их звучали в полутьме, освещённой только лучинами, и тени на стенах метались, как нетопыри.

- Видели вы, кумушки, как она нынче шла к костёлу? - спрашивала одна, понижая голос до шёпота, в котором слышалось и восхищение, и ненависть одновременно. - Платок на ней был белый, да не простой, а с каймой красною, вышитой. И где только взяла такой? У нас таких платков отродясь не носили! Небось из самого Кракова привезла, на последние деньги купила, чтобы перед мужиками рисоваться.

- А я вам скажу, - подхватывала другая, ещё тише, ещё злее, - что неспроста это. Не может простая баба так выглядеть. Моя бабка ещё рассказывала, что ведьмы всегда красавицы, потому что сам дьявол им красоту даёт в обмен на душу. И чем красивее ведьма, тем больше душ она продала. Эта, поди, душу дьяволу отдала, чтобы так выглядеть.

- Да уж, - кивала третья, поддакивая. - Вы только гляньте на неё: в церковь ходит, молится, крестится, а сама мужиков наших как ложкой ест, по одному, по два, всю деревню переест, никого не оставит. Мой-то, Янек, совсем извёлся. Ночью не спит, ворочается, вздыхает, а давеча назвал меня её именем, во сне. Я чуть не убила его, грешным делом.

По мере того, как сгущалась темнота, догорали лучины, и тени на стенах становились гуще и страшнее, разговоры эти становились всё злее, всё откровеннее, всё ближе к тому, о чём не говорят вслух, о чём думают только шёпотом и оглядываясь. Бабы вспоминали старые способы порчи те, что слышали от бабушек и прабабушек, те, что передавались из уст в уста, как страшные сказки на ночь, гадали, отчего у Агнешки нет детей, и приходили к выводу, что это верный знак: ведьмы бесплодны, потому что дьявол не позволяет им плодиться. Судили и рядили, как бы её извести, какую подсыпать в колодец отраву, какую заговорённую иглу подложить под порог, какую куклу из воска слепить и колоть иглами, и, хотя до дела пока не доходило, слова их, падая в ночной воздух, не рассеивались бесследно, а оседали где-то, скапливались, сгущались в нечто почти осязаемое.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.